

## ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАМѢТКА.

---

Н. В. ГОГОЛЬ,

ТВОРЧЕСТВО ЕГО, ЛИЧНОСТЬ И ЭПОХА — ВЪ НОВОМЪ ОСВѢЩЕНИИ.

- Н. Котляревский. Н. В. Гоголь. Очеркъ изъ исторіи, русской повѣсти и драмы. 1829—1842. Спб. 1903.
- Проф. Д. Овсяннико-Куликовский. Н. В. Гоголь. Издание редакціи журнала „Вѣстникъ Воспитанія“. М. 1903.
- В. В. Калашъ. Основныя черты личности и творчества Н. В. Гоголя. М. 1902.
- Памяти Гоголя. Научно-литературный сборникъ, изданный Историческимъ обществомъ Нестора-христописца, подъ ред. Н. П. Дацкевича. Киевъ. 1902 (?).

Научное изученіе Гоголя, какъ художника и человѣка, представляетъ нелегкую задачу. Кто берется за рѣшеніе ея, долженъ совмѣщать въ себѣ, въ одно и то же время, и вдумчиваго историка литературы, охватившаго культурное и умственное содержаніе эпохи, которая выдвинула замѣчательнаго писателя,—и тонкаго психолога, способнаго освѣтить недоступный простому наблюденію міръ сложныхъ и странныхъ противорѣчій въ душѣ художника-гражданина, трагическую борьбу божественнаго съ человѣческимъ. Всестороннаго изслѣдованія въ этомъ отношеніи пока еще преждевременно требовать отъ ученыхъ, посвящающихъ свои работы отдельнымъ вопросамъ изученія жизни и творчества Гоголя, тѣмъ болѣе, что хотя общія черты Гоголевской эпохи и обозначились въ историческомъ пониманіи, ея содержаніе далеко еще не стало материаломъ научного изученія, а громадная работа, потраченная на установление точныхъ фактовъ жизни и подлиннаго текста писателя, нуждается въ дальнѣйшемъ, уже психологическомъ анализѣ и обобщеніяхъ философскаго свойства.

На пути къ этимъ конечнымъ цѣлямъ мы должны особенно привѣтствовать появленіе такого рода работъ, какъ изслѣдованіе Н. А. Котляревского. Задавшись цѣлью выяснить вопросъ о томъ, какое положеніе занимаютъ произведения Гоголя въ раду современныхъ ему памятниковъ словеснаго творчества, г. Котляревский свѣль свою работу на почву историко-литературного изслѣдованія о роли Гоголя въ той общей работѣ всѣхъ болѣе или менѣе выдающихся писателей его времени, которая была направлена на сближеніе литературы съ жизнью. „У Гоголя были помощники,—говорить авторъ,—писатели, которые своими трудами прокладывали ему дорогу или вмѣстѣ съ нимъ

трудились надъ одной задачей, и даже болѣе пристально присматривались иногда къ нѣкоторымъ сторонамъ жизни, на которыхъ нашъ сатирикъ не успѣлъ обратить должное вниманіе". Самая постановка вопроса возбуждаетъ высокій интересъ, еще усиливаемый тѣмъ обстоятельствомъ, что въ рѣшеніи его давно уже чувствовалась настоятельная потребность, какъ для дальнѣйшаго хода работъ по изученію Гоголя, такъ и для мотивированно-правильной и объективной историко-литературной его оцѣнки.

Книга г. Котляревскаго интересна по своему содержанію, уясняющему ту историческую почву, на которой развилося творчество Гоголя, и чрезвычайно привлекательна по характеризующему автора изяществу и, мѣстами, блеску изложенія. Мы привыкли къ тому, чтобы встрѣтить въ критикѣ художественныхъ произведеній какъ бы предна�ѣренную сухость и безжизненность, принимаемыя многими въ качествѣ признаковъ патентованной учености, и въ этомъ отношеніи книга г. Котляревскаго должна быть отнесена къ числу, несомнѣнно, отрадныхъ явлений нашей литературы. Между авторомъ и читателемъ сразу устанавливается какая-то—а рѣги—дружественная связь, среда задумчивости и поэтической грусти, сквозь призму которой чувствуется не только объективное наблюденіе предмета, но и душевное къ нему участіе. И нисколько не теряя въ своей научности, книга читается, какъ занимательная и облагораживающая повѣсть. Мѣткія характеристики, остроумныя сопоставленія, поэтическая дымка при передачѣ романтическихъ настроеній,—все это проникнуто чувствомъ художественного такта самого автора и вмѣстѣ съ тѣмъ соответствуетъ основному предмету книги—раскрыть не столько всѣ тайныя и явныя пружины творчества и жизни Гоголя, сколько разсказать о тѣхъ условіяхъ, при которыхъ это оригинальное творчество и личность развивались и просвѣтлялись самосознаніемъ художника и гражданина.

Не признавая въ творчествѣ Гоголя никакихъ рѣзкихъ переломовъ или поворотовъ, г. Котляревскій дѣлить, тѣмъ не менѣе, исторію его литературной дѣятельности на двѣ эпохи, изъ которыхъ одна характеризуется расцвѣтомъ преимущественно художественного творчества поэта, а другая—стремлениемъ его осмыслить и понять жизнь, исключительно какъ проблему этическую и религіозную. Но авторъ не береть на себя задачи выяснить обѣ эти эпохи сполна; его цѣль—дать характеристику лишь тѣхъ лѣтъ дѣятельности Гоголя, когда онъ былъ по преимуществу художникомъ-бытописателемъ, и религіозныхъ, нравственныхъ и общественныхъ идеи были для него, сравнительно съ художественнымъ воспроизведеніемъ дѣйствительности, на второмъ планѣ.

Намъ хотѣлось бы познакомить читателей съ основными выводами

и характеромъ изложения г. Котляревскаго. Но сдѣлать это, по отношенію ко всей книгѣ, не особенно легко. Построенная чрезвычайно законченно и отчетливо, отличаясь тою степенью стройности, которую жаль разрушать сокращеніемъ изложеніемъ, она не особенно поддается пересказу, и мы ограничимъ свою задачу тѣмъ, что остановимся лишь на нѣкоторыхъ наиболѣе, по нашему мнѣнію, интересныхъ сторонахъ, посвященныхъ, съ одной стороны, характеристикѣ современной Гоголю литературы, а съ другой—заключительнымъ выводамъ автора.

Въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда Гоголь только вступалъ на литературное поприще, критическая мысль шла впереди художественной, и прежняя литературная традиція, классическая, сентиментальная и романтическая, были уже подорваны критикой. Послѣдняя, еще съ середины двадцатыхъ годовъ, стала предъявлять опредѣленныя требования къ литературѣ, сводившіяся къ установлению самобытныхъ сюжетовъ и национальныхъ приемовъ въ творчествѣ. Изъ молодыхъ критиковъ того времени выдавались—Кюхельбекеръ (въ „Мнемозинѣ“), Александръ Бестужевъ (альманахъ „Полярная Звѣзда“), Веневитиновъ („Московскій Вѣстникъ“), Сомовъ и мн. Вяземскій (въ „Московскомъ Телеграфѣ“), позже—И. В. Кирѣевскій (въ „Европейцѣ“), Полевой (въ „Московскомъ Телеграфѣ“), Надеждинъ (въ „Телескопѣ“). Критики судили съ различныхъ точекъ зрѣнія, но совпадали въ конечномъ выводѣ. Авторъ формулируетъ послѣдній такимъ образомъ: „Содержаніе и форма русской словесности не соответствуетъ тому положенію, которое Россія заняла среди иныхъ цивилизованныхъ націй міра и не соответствуетъ также тѣмъ национальнымъ формамъ быта и тому национальному смыслу, который, безспорно, заключенъ въ нашей народной и государственной жизни. Мы—нація съ физіономіей самобытной, нація, развившаяся иначе, чѣмъ другія, и уже имѣющая нѣкоторыя заслуги передъ культурнымъ міромъ, и тѣмъ не менѣе отраженіе нашей жизни въ искусствѣ до сихъ поръ было и остается пародіей искусства западнаго, несмотря на присутствіе среди насть большихъ талантовъ, обѣщающихъ многое въ будущемъ. У насъ нѣть ни силы, ни умѣнія провести нашу національную идею въ нашемъ художественномъ творчествѣ, отлить ее въ самобытную форму: въ художникахъ нашихъ совсѣмъ еще не развито чутье народности“... Таковъ былъ приговоръ тогдашней критики.

Этотъ приговоръ былъ не вполнѣ справедливъ, такъ какъ нельзя было отнимать у писателя званіе „народнаго“ только потому, что онъ былъ подражателемъ въ сюжетѣ или формѣ своихъ произведеній, и въ смыслѣ выраженія чувствъ и настроений опредѣленныхъ круж-

ковъ „русской“ интеллигенціи своего времени, были одинаково народны и Батюшковъ, и Жуковскій. Но критика была безусловно права въ томъ отношеніи, что наша словесность, дѣйствительно, очень мало отражала нашу дѣйствительность, предпочитая ей иные вѣка и быть иныхъ народовъ. Искусство давало слишкомъ блѣдное представление о той сложной, пестрой и разнообразной по идеямъ, чувствамъ и настроеніямъ жизни, которой жили разные классы нашего общества. Заслуга Гоголя, вмѣстѣ съ Пушкинымъ, Гоголя—, нашего первого реалиста въ искусствѣ,—и стоить въ непосредственной связи съ вопросомъ обѣ отраженіи нашей жизни въ литературѣ.

„А наша дѣйствительность тѣхъ лѣтъ,—говорить авторъ,— могла по праву горевать о томъ, что было такъ мало художниковъ, ея достойныхъ.

„Это была дѣйствительность, отливавшая самыми разнообразными оттѣнками мысли и чувства. Вѣкъ дѣятельный и тревожный, за которымъ следовала эпоха сосредоточенного раздумья—иной разъ очень печального. Вѣкъ броженія идей и подъема чувствъ, и затѣмъ годы замиренія и притиханія ума и сердца.

„Эпоха Александра I могла въ особенности дать много материала для историка, психолога и художника“...

Давъ сжатую, но яркую и образную характеристику Александровской эпохи, авторъ ставить вопросъ: какъ же воспользовался всѣмъ этимъ материаломъ художникъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ? „Онъ, свидѣтель царствованія Александра и свидѣтель первыхъ годовъ новаго царствованія, уловилъ ли онъ смыслъ или хотя бы только вѣнчаную форму того исторического процесса, который передъ нимъ развернулся?“

Завѣщанная XVIII вѣкомъ тенденція сближенія искусства съ жизнью не исчезла и въ началѣ XIX, но развитіе ея не соответствовало тому приросту литературныхъ силъ, который появился въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ. Талантъ явилось много и даже сильныхъ, но изъ нихъ склонность къ реальному возсозданію нашей жизни обнаружили немногіе, притомъ наиболѣе слабые: даровитые писатели либо заимствовали сюжетъ изъ жизни не-русской и не-современной, либо уходили въ изображеніе своихъ личныхъ ощущеній.

Для доказательства своего положенія авторъ останавливается на значеніи дѣятельности Крылова, Жуковскаго, Батюшкова, Грибоѣдова, Пушкина и цѣлой плеяды нынѣ уже забытыхъ писателей, Нарѣжнаго, Полевого, Марлинскаго, Булгарина, Бѣгичева и др. Мѣткими и рѣзкими штрихами очерчена роль Грибоѣдова въ уясненіи исторического смысла эпохи. „Важна въ данномъ смыслѣ,— говорить авторъ,— не столько яркая типичность нѣкоторыхъ дѣйствующихъ

лицъ, какъ, напр., московскаго барина, въ которомъ сановитое чиновничество соединилось съ нѣкоторой аристократической распущенностью помѣщика, или его пріятеля, полковника аракчеевской выправки ума и тѣла, или его гостей — этихъ рѣдкихъ экземпляровъ дворянской кунсткамеры, или, наконецъ, его секретаря—чиновника изъ лакеевъ или лакея изъ чиновниковъ; важнѣе всѣхъ этихъ живыхъ портретовъ то изумительное пониманіе современной минуты, которое выказалъ Грибоѣдовъ, когда всѣмъ этимъ сложившимся и опредѣленнымъ цѣльнымъ типамъ, всѣмъ этимъ олицетвореніямъ общественной неподвижности, онъ противопоставилъ типъ совсѣмъ неустановившагося молодого человѣка, выразителя стремлений и думъ молодежи. Пониманіе эпохи и выражалось, главнымъ образомъ, въ недоговоренности и нецѣльности этого молодого типа, въ которомъ соединены, какъ въ фокусѣ, всѣ нити тогдашней молодой мысли, мысли иногда противорѣчивой и неясной, но зато дѣйствительно современной. Чапкій—и славянофиль, и западникъ, и сентименталистъ, и человѣкъ скептическаго и холоднаго разсудка, и вмѣстѣ съ тѣмъ экзальтированный юноша, т.-е. въ немъ, какъ въ сводномъ типѣ, соединены противорѣчія, которые въ живомъ лицѣ непонятны, но въ типѣ сводномъ могутъ быть вполнѣ истолкованы и соглашены. Онъ—выразитель броженія молодыхъ чувствъ и идей, поставленный среди лицъ съ установленными неподвижно взглядами и понятіями, и этой контрастъ былъ, дѣйствительно, однимъ изъ любопытныхъ историческихъ контрастовъ того времени. Грибоѣдовская комедія первая его отмѣтила и первая заставила о немъ подумать".

Характеристикъ, подобныхъ приведеннымъ, не мало въ книгѣ г. Котляревскаго. Въ нихъ сказывается не только опытный изслѣдователь, но и тонкій любитель литературы, надѣленный лично недюжиннымъ художественнымъ дарованіемъ.

Художественное дарование въ ученомъ изслѣдователѣ имѣть свои особенности, среди которыхъ нерѣдко видную роль играетъ нѣкоторая неуравновѣшенность, неровность, такъ сказать, въ распределеніи темперамента, поскольку послѣдній отражается на ходѣ ученаго изслѣдованія. Это сказывается мѣстами и въ книгѣ Н. А. Котляревскаго, но особенно это можно подмѣтить на характеристики Пушкина, въ его отношеніяхъ къ реализму въ нашей литературѣ. Какъ это ни странно съ первого взгляда, характеристика Пушкина вышла у автора блѣдной и далеко не полной. По отзыву г. Котляревскаго, Пушкинъ, при своей замѣчательной способности на все въ мірѣ откликаться, всего рѣже откликался, какъ художникъ, на за-

просы современной ему русской жизни. Авторъ отграничиваетъ понятіе „какъ художникъ“ отъ работы Пушкина въ качествѣ критика, историка и публициста. Но именно по отношенію къ Пушкину такое разграничение невозможно. Если взять дѣятельность Пушкина, въ ея цѣломъ, не исключая его богатѣйшей переписки, какъ это авторъ дѣлаетъ относительно Гоголя, то трудно будетъ согласиться съ тѣмъ положеніемъ, что Пушкинъ избѣгалъ современныхъ темъ и неохотно брался за изображеніе дѣйствительности, и что—„во всемъ, что Пушкину пришлось обнародовать до появленія произведеній Гоголя, современность была слабо представлена“. Знаменательно было уже и то обстоятельство, что въ художникѣ все время не переставалъ сказываться публицистъ, искавшій выраженія тѣмъ идеямъ и фактамъ дѣйствительности, о которыхъ съ большей свободой и непосредственностью можно было бы говорить безъ границъ и неизмѣнныхъ условностей поэтическаго изложенія. Можно согласиться, пожалуй, съ тѣмъ, что если Пушкинъ, тѣмъ не менѣе, не сдѣлалъ всего, что онъ могъ бы сдѣлать, судя по неконченнымъ работамъ, то, какъ говорить авторъ,—„тому были психологическія и иные причины“;—вѣрѣнія и психологическая, а среди этихъ имѣхъ причинъ играла и послѣднюю, если не первую роль—тажесть политическихъ и общественныхъ условій, давившая его несравненно сильнѣе, чѣмъ позже Гоголя. Только значительно приподнявъ оцѣнку того, что было сдѣлано Пушкинымъ въ области художественной дѣятельности, можно было бы принять слова автора о томъ, что „такое позднее (посмертное) появленіе нѣкоторыхъ изъ его произведеній, написанныхъ съ удивительнымъ пониманіемъ дѣйствительности, не вознаграждало напѣ реализмъ въ искусствѣ за ту потерю, которую онъ понесъ отъ незнакомства съ этими опытами Пушкина въ свое время, когда онъ, этотъ реализмъ, боролся за свое существованіе“.

Останавливаясь на писателяхъ второстепенныхъ, авторъ считается съ ними, поскольку ихъ сочиненія давали бытописательный материалъ. „Этотъ материалъ,—замѣчаетъ онъ,—изъ жизни дѣйствительной подбирался нашими писателями съ разными цѣлями, не всегда только художественными“. Такъ, прежде всего въ романѣ Измайлова „Евгений“ на первомъ планѣ стояла дидактическая цѣль; позже нѣсколько выступилъ Карамзинъ. Попытки реального романа у Нарѣжнаго и затѣмъ Булгарина, особенно у первого, вышли уже гораздо серьезнѣе. Характеристика Нарѣжнаго, долгое время не пользовавшагося вниманіемъ критики, принадлежитъ къ числу наиболѣе удачныхъ у г. Котляревскаго. Нарѣжный былъ талантливый, вдумчивый и смѣлый писатель. „Разсматривая ихъ (правоописательные романы Нарѣжнаго), какъ исторический памятникъ, мы убѣждаемся, что Нарѣжный обла-

даль большими чутьемъ дѣйствительности, и что ему удалось огъять въ своихъ романахъ такія стороны жизни, которыхъ не касались его современники" ... „Его романъ („Два Ивана“) отнюдь не былъ „забавнымъ“ романомъ, несмотря на массу истинно-комическихъ подробностей, даже балаганныхъ сцены, которыми авторъ испестрилъ свою повѣсть. По основной идеѣ это была сатира соціальная, въ которой писатель гнался за правдоподобностью, за вѣрными бытовыми красками, за оригинальностью въ языке". Умѣя отличать въ нашей жизни существенное отъ случайного, Нарѣжный—„быть явленіемъ рѣдкимъ, и среди нашихъ позднѣйшихъ реалистовъ Николаевской эпохи мы не найдемъ достойнаго ему по смыслии замѣстителя“.

Безпристрастная оцѣнка дана г. Котляревскимъ знаменитому Булгарину. „Онъ, какъ литераторъ,—говорить авторъ,—имѣлъ свои безспорные заслуги, и нелюбовь къ нему, какъ къ человѣку, не должна мѣшать правильной оцѣнкѣ его дѣятельности какъ журналиста и писателя“. Но для роста литературы Булгаринъ сдѣлалъ мало. „Многое въ данномъ случаѣ зависѣло отъ темперамента самого писателя: Булгаринъ былъ по природѣ своей человѣкъ трусливый, который всегда боялся сказать не у мяста что-нибудь лишнее. Настоящаго темперамента сатирика въ немъ не было, не много было и чисто литературного таланта. Всего вѣрнѣе будетъ, если мы его отчислимъ въ группу сентименталистовъ, проповѣдниковъ обыденной несложной морали, привыкшей имѣть дѣло съ самыми будничными добродѣтелями“. Гораздо богаче содержаніемъ были статейки Полевого, собранныя имъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ въ „Новомъ живописцѣ общества и литературы“. Злая и мѣткая шутка надъ очень серьезными сторонами жизни—вотъ ихъ главное достоинство.

Истинный реализмъ началъ проявляться въ литературѣ достаточно ясно, но—„критика не замѣтила и не оцѣнила его по достоинству“. Тѣмъ не менѣе, попытки реального воспроизведенія нашей тогдашней жизни свое дѣло сдѣлали: „онъ подготовляли общество къ достойной встрѣчѣ истиннаго таланта, въ созданіяхъ котораго ихъ тенденція настоящаго реализма и народности должна была восторжествовать окончательно... и такой талантъ на заставилъ себя ждать долго“.

Это былъ Гоголь.

Выяснивъ, такимъ образомъ, критические взгляды, существовавши въ концѣ двадцатыхъ и началѣ тридцатыхъ годовъ, и подготовительную работу писателей-реалистовъ, г. Котляревскій переходитъ къ творчеству Гоголя и послѣдовательно рассматриваетъ одно произведеніе за другимъ. Здѣсь авторъ не столько интересуется фактической стороной произведенія, исторіей его текста и совпаденіями въ сюже-

такъ съ другими писателями, сколько тѣмъ внутреннимъ міромъ, въ которомъ жилъ художникъ въ періодъ созданія того или другого произведенія, смѣй и борьбой настроеній и идей, оставилшій слѣдъ въ творчествѣ. Изслѣдуя „Вечера на хуторѣ“, авторъ отмѣчаетъ въ нихъ смѣшеніе романтизма съ реализмомъ, фантастическій элементъ, идеализацію, отступленія отъ бытовой правды. Біографія, игравшая столь видную роль въ творчествѣ поэта, естественно входитъ въ изложеніе автора, но не выступаетъ на первый планъ, являясь лишь необходимымъ материаломъ для поясненія особенностей творчества, внутренняй исторіи котораго даетъ основное содержаніе всѣмъ послѣдующимъ главамъ книги. За разсказомъ о петербургскомъ періодѣ жизни, отмѣченномъ колебаніями въ приемахъ творчества, когда Гоголь былъ „романтикомъ-энтузіастомъ въ борьбѣ съ бытописателемъ-юмористомъ“, причемъ послѣдній взялъ верхъ (въ этотъ періодъ) надъ первымъ, слѣдуетъ характеристика взглядовъ Гоголя на искусство, въ которыхъ уже наглядно сказался разладъ мечты и дѣйствительности, какъ онъ отразился въ такихъ повѣстяхъ, какъ „Портретъ“, „Невскій Пропсектъ“, „Записки Сумасшедшаго“, и статьяхъ объ искусствѣ.

Говоря объ увлеченіи Гоголя исторіей и произведеніяхъ этого періода, авторъ даетъ попутно очеркъ нашей исторической повѣсти, останавливаясь на главнѣйшихъ видахъ этого рода литературныхъ произведеній, съ тѣмъ, чтобы указаниемъ на ихъ достоинства и недостатки лучше оцѣнить то преимущество, которое надъ всѣми ними имѣеть разсказъ Гоголя". Здѣсь отмѣчаются снова—Нарѣжный, Марлинскій, охарактеризованный въ этомъ случаѣ „если не отсутствиемъ, то меньшимъ подчеркиваньемъ всевозможныхъ патріотическихъ тенденцій“; затѣмъ Загоскинъ, съ своимъ „фальшивымъ“ Юриемъ Милославскимъ, Лажечниковъ, Полевой. Въ этотъ періодъ Гоголь, по словамъ автора,—„какъ печальникъ о разладѣ мечты и дѣйствительности, какъ мечтатель-поэтъ, которому трудно отвѣтить на вопросъ—чему служить его вдохновеніе, въ чёмъ заключена его тайна и его земное назначеніе, наконецъ, какъ любитель старины, въ которой онъ искалъ не беспристрастной истины, а подтвержденія своихъ думъ и симпатій, Гоголь тридцатыхъ годовъ—сынъ своего романтическаго поколѣнія.

„Но въ немъ одновременно созрѣвалъ творецъ иного литературнаго направленія, отъ развитія котораго наше самосознаніе должно было такъ много выиграть впослѣдствії“. Послѣдовательному изложению процесса выработки въ писателѣ этого новаго, истинно-реальнаго направленія, посвящены остальные главы изслѣдованія Н. А. Котляревскаго. Особенное значеніе имѣютъ его положительно блестящія страницы по вопросу о томъ, кого слѣдуетъ признать отцомъ нашего реального романа: Пушкина, Лермонтова или Гоголя? Авторъ

рѣшаетъ его такимъ образомъ: Пушкинъ былъ первый по времени, достигшій сочетанія правды съ жизнью, а Гоголь—по полнотѣ и широтѣ изображенія дѣйствительности. „Картина русской жизни, набросанная нашимъ сатирикомъ, была несравненно полнѣе и шире, чѣмъ все, что было въ этомъ направленіи создано его предшественниками и современниками. Только прочитавъ Гоголя, мы могли сказать, что ознакомились со многими страницами той, еще до сей поры не дочитанной книги, которая называется русской жизнью“.

Работа г. Котляревскаго важна также и въ томъ отношеніи, что она пролагаетъ новые пути для послѣдующихъ изыскателей и открываетъ широкія перспективы для новыхъ точекъ зреенія. Дальнѣйшая разработка творчества Гоголя, быть можетъ, не остановится передъ неразрѣшимостью задачи, которую представляютъ собой жизнь и творчество писателя въ послѣднія десять лѣтъ его жизни, и докажутъ ту a priori кажущуюся истину, что въ немъ Россія имѣла честнѣйшаго сына своей родины, положившаго всѣ силы на то, чтобы сдѣлать свой талантъ орудіемъ служенія высшимъ идеаламъ общества, независимо отъ его личнаго пониманія этихъ идеаловъ. И книга г. Котляревскаго поможетъ рѣшить эту задачу.

Немаловажное значеніе имѣть и трудъ проф. Овсянико-Куликовскаго, не вполнѣ, какъ можно думать, законченный и разработанный въ деталяхъ. Важны общія соображенія, и особенно методъ изслѣдованія, своеобразный, непосредственно изслѣдующій творчество писателя въ его существѣ. Работу эту слѣдуетъ имѣть въ виду, читая книгу г. Котляревскаго, но и сама она нуждается въ общемъ историческомъ отвѣщеніи, которое въ ней, сообразно цѣлямъ автора, почти отсутствуетъ.

Этюдъ г. Овсянико-Куликовскаго открывается общимъ разсужденіемъ о художественномъ методѣ Гоголя. Для выясненія послѣдняго авторъ сопоставляетъ его съ тѣмъ, какъ творилъ Пушкинъ. Для писателей на художниковъ-наблюдателей, преслѣдующихъ правдивое изображеніе жизни такою, какъ она есть, и художниковъ-экспериментаторовъ, дающихъ въ своихъ произведеніяхъ субъективно созданный нарочитый подборъ извѣстныхъ чертъ, въ особомъ освѣщеніи, благодаря чему изучаемая художникомъ сторона жизни выступаетъ такъ ярко и отчетливо, что ея смысль становится понятенъ всѣмъ,— авторъ видѣть высшій образецъ первыхъ въ Пушкинѣ, а въ Гоголѣ—высшій образецъ вторыхъ. Художникъ-экспериментаторъ, вызвавшій

у Пушкина скорбный возгласъ: „Боже, какъ грустна наша Россія!“ при чтеніи отрывка „Мертвыхъ Душъ“, по самой натурѣ своей долженъ быть представлять, какъ гений жизнерадостный и уравновѣшенный, прямую противоположность Гоголю, натурѣ неровной, болѣзниенно-воспріимчивой и неясной.

Авторъ даетъ такую общую характеристику Гоголю: „сосредоточенный и замкнутый въ себѣ, неэкспансионный, склонный къ самоанализу и самобичеванію, предрасположенный къ меланхоліи и мизантропіи, натура неуравновѣшенная, Гоголь смотрѣлъ на Божій міръ сквозь призму своихъ настроеній, большую частью очень сложныхъ и психологически-темныхъ, и видѣлъ ярко и въ увеличенномъ масштабѣ преимущественно все темное, мелкое, пошлое, узкое въ человѣкѣ. Кое-что изъ этого порадка отрицательныхъ явлений онъ усматривалъ и въ себѣ самому—и тѣмъ живѣе и болѣзниеннѣе отзывался онъ на эти впечатлѣнія, идущія отъ другихъ, отъ окружающей среды. Онъ изучалъ ихъ одновременно и въ себѣ, и въ другихъ. Находя въ себѣ нѣкоторые недостатки или „мерзости“, какъ онъ выражается, онъ ихъ приписывалъ своимъ героямъ, а съ другой стороны, чужія „мерзости“, изображенныя въ герояхъ, онъ сперва, такъ сказать, примѣрялъ къ себѣ, навязывалъ себѣ, чтобы лучше вглядѣться въ нихъ и глубже постигъ ихъ психологическую природу. Это были своеобразные приемы экспериментального метода въ искусствѣ“.

Гоголь постоянно, съ раннаго дѣтства, производилъ опыты надъ людьми. Онъ дажессорился, какъ известно, съ своими друзьями, съ единственной цѣлью заставить ихъ высказаться о себѣ и посмотреть на нихъ въ гнѣвѣ. Въ этомъ сказывались моралистъ и художникъ въ одно и то же время. Этика и искусство шли у него рядомъ. Движеніями души человѣческой онъ не переставалъ интересоваться никогда. Постоянно просилъ онъ друзей сообщать ему мелочи жизни и обстановки, характеристики-портреты знакомыхъ, отмѣча въ нихъ типическія черты. Для него въ душѣ и сердцѣ человѣческомъ было столько неуловимыхъ оттѣнковъ и излучинъ, что каждый день могли случаться открытія и откровенія. Но не вся русская жизнь, въ ея цѣломъ, была предметомъ художественныхъ стремленій Гоголя, но лишь русскій человѣкъ, въ собирательномъ смыслѣ, психологія русскаго человѣка, тѣ ея вопросы, которые онъ опредѣлялъ терминомъ „душевное дѣло“. Въ одномъ изъ писемъ къ П. А. Плетневу онъ говорилъ, что ему былъ издавна дарованъ Богомъ драгоценный даръ слышати душу человѣка. Эта экспериментирующая сторона Гоголевской натуры многое объясняетъ въ писателѣ и, между прочимъ, тѣ недоразумѣнія которыхъ постоянно возникали у него съ друзьями.

Чрезвычайно интересны соображенія автора объ умѣ Гоголя. От-

и ёла одно изъ многихъ противорѣчій Гоголя, именно то, что, съ одной стороны, въ его жизни видна упорная и неустанная работа ума, а съ другой—несомнѣнныя признаки умственной лѣни, г. Освянико-Куликовскій опредѣляетъ его, какъ человѣка мыслящаго, работающаго головою, характернымъ терминомъ: „трудолюбивый лѣнивецъ“. При логической непримиримости этихъ понятій, психологически авторъ объясняетъ ее такъ, что это противорѣчіе вытекаетъ изъ основныхъ свойствъ ума человѣческаго, изъ тѣхъ психологическихъ особенностей, которыми сфера мысли отличается отъ другихъ сферъ психики,—отъ чувства и воли. По самой своей природѣ умъ—постоянныи работникъ, работающій неустанно, какъ часы. Но онъ неохотно мѣняетъ направление и ходъ своей работы, неохотно расширяетъ свой кругозоръ, пріобрѣтаетъ новые интересы. Ему свойственна извѣстнаго рода консервативность.

Природа награждаетъ нѣкоторыхъ „счастливо организованными“ умами, одаренными исключительной гибкостью и широтой умственныхъ интересовъ, открытыми всѣмъ впечатлѣніямъ и возбужденіямъ мышленія. Такіе умы радостно и бодро идутъ впередъ вмѣсть съ человѣчествомъ. Таковы были—Гёте и напрѣкь Пушкинъ, лозунгомъ котораго было—„на поприщѣ ума нельзя намъ отступать“...

Гоголь принадлежалъ къ совершенно особому типу.

Будучи современникомъ великихъ событий въ умственной и общественно-политической жизни западной Европы, гдѣ онъ такъ долго жилъ, онъ почти ничѣмъ не отозвался на нихъ и остался въ сторонѣ отъ могучаго движенія въ сферѣ европейской литературы, наукъ, искусствъ и философіи. Поэтическое наслѣдіе Гёте, Шиллера, Байрона, французская литература, съ Гюго, Ламартиномъ, Жоржъ-Зандъ, Бальзакомъ, философскія течения, шедшія отъ Гегеля, Фихте, Шеллинга и, рядомъ съ ними, гуманитарныи и освободительныи идеи,—вся эта работа умовъ, „вся эта жизнь и роскошь духа“, для Гоголя не существовала; даже интересъ къ пластическому искусству, проявившійся въ немъ, не вызвалъ сколько-нибудь значительной работы мысли, ни даже желанія познакомиться съ литературой по исторіи и теоріи искусства.

И тѣмъ не менѣе, этотъ умъ произвелъ гигантскую работу и притомъ такую, какая подъ силу только геніальному художественному уму.

Въ объясненіе этого факта авторъ указываетъ снова на ту двойственность, какая существуетъ въ умственной дѣятельности человѣка. „Всякій человѣкъ,—говорить онъ,—является въ жизни своей одновременно и „мыслителемъ“ (у всякаго своя философія), и „ученикомъ“ жизни, цивилизаціи, новыхъ идей, новыхъ сужденій и построеній, новыхъ завоеваній науки, философіи, искусства. Отношеніе въ каждомъ

изъ нась „мыслителя“ къ „ученику“ бываетъ весьма различно: одинъ является одинаково хорошимъ „мыслителемъ“ и „ученикомъ“, другой—„хорошимъ мыслителемъ“ и плохимъ „ученикомъ“, третій—наоборотъ и т. д. Есть люди, которые всѣмъ интересуются, за всѣмъ слѣдить, все читаютъ, и въ результатѣ въ головѣ у нихъ получается нѣкоторая каша, которую они называютъ міросозерцаніемъ: это—хорошіе, т.-е. прилежные „ученики“ и совсѣмъ ужъ плохіе „мыслители“...

Гоголь, наоборотъ, былъ отличнымъ „мыслителемъ“ и совсѣмъ плохимъ, лѣнивымъ „ученикомъ“. Ему болѣе всего была свойственна „обломовщина“ ума, какъ органа познанія и движенія мысли.

Геніально-творческий умъ Гоголя былъ темный умъ. „Излишне приводить доказательства умственной темноты Гоголя,—говорить авторъ:—многія страницы „Выбранныхъ мѣсть“ и писемъ слишкомъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о ней (одно изъ самыхъ краснорѣчивыхъ—вѣра въ чорта). Гораздо важнѣе показать, что этотъ темный умъ былъ великой умъ и что, пребывая во тьмѣ, Гоголь иногда видѣлъ и понималъ то, чего часто не видѣть и не понимаютъ люди, вышедшіе изъ тьмы, умы просвѣщенные“... Огромный умъ Гоголя слишкомъ много тратилъ и слишкомъ скучно питался. Отсюда—недостатокъ свѣта и отсутствіе широкихъ идей.

Въ этой же главѣ авторъ существенно выясняетъ значеніе Пушкина для самосознанія Гоголя, т.-е. сторону, недостаточно отѣненную въ предыдущей книгѣ.

Не менѣе любопытна и та часть труда г. Овсяніко-Куликовскаго, которую онъ посвящаетъ психологіи отношенія Гоголя къ Руси, какъ цѣлому.

Это была прежде всего связь тяготѣнія великаго художника къ томунациональному цѣлому, къ которому онъ принадлежалъ. Она сильнѣе всего ощущалась въ минуты вдохновеній, и особенно когда Русь представлялась ему изъ прекраснаго далека. Но, кроме общихъ, у Гоголя были и индивидуальные пружины этой связи. Выясненіе ихъ составляетъ одно изъ интереснѣйшихъ мѣсть книги.

Прежде всего авторъ указываетъ на то, что, несмотря на видимую замкнутость и неэклспансивность натуры, никто изъ писателей не раскрылъ намъ своей души и своихъ тайныхъ помышленій сть такой полнотой, какъ Гоголь—и не только въ интимныхъ письмахъ къ друзьямъ, но и въ печатныхъ произведеніяхъ („Авторская исповѣдь“, нѣкоторыя страницы изъ „Выбранныхъ мѣсть“). „Въ то время, какъ въ сочиненіяхъ и письмахъ Пушкина и Тургенева едва можно набрать сотню—другую строкъ этого рода признаній, въ литературномъ наслѣдіи Го-

голя они занимаютъ десятки страницъ. Какъ согласовать его съ столь извѣстной скрытностью, неэкспансивностью Гоголя?“

Противорѣчіе полное, но авторъ устраняетъ его слѣдующимъ соображеніемъ.

По особенностямъ душевнаго склада и субъективному характеру творчества, центромъ, вокругъ котораго вращались всѣ интересы Гоголя, было его внутреннее „я“. Натура *эгоцентрическая*, Гоголь былъ всегда „полонъ собою“, всегда носился съ собою и невольно, повинуясь внутреннему импульсу, рассказывалъ о себѣ, живя по преимуществу рефлексіей своего внутренняго бытія. Такое положеніе многое уясняетъ въ Гоголѣ, въ особенности въ отношеніи его душевныхъ мукъ. „Слишкомъ центральное положеніе человѣческаго „я“ есть бремя неудобносимое, — говоритъ авторъ. — Вниманіе, напряженно устремленное внутрь, утомляется скорѣе и больше, чѣмъ вниманіе, обращенное къ вѣнчальному миру. Ибо и темно, и тревожно въ душѣ человѣческой, и взоръ, прикованный къ ея микрокосму, смотрить въ темноту и по необходимости становится играющимъ всего, чтѣ тамъ залежалось, что тамъ глухо бродить, что прятаться,—разныхъ болѣе или менѣе допотопныхъ понятій, спящихъ въ безсознательной сфере духа, различныхъ иллюзій сознанія и тайныхъ самообмановъ чувствъ, имѣющихъ свой смыслъ и свою душевную правду, пока они скрыты, и становящихся ложью, когда обнаружены“.

Такъ было и съ Гоголемъ. Высказаться, „исповѣдаться“, и притомъ публично, было для него, какъ для натуры крайне эгоцентричной, глубокой душевной потребностью.

Его „эгоцентризмъ“ искалъ проявить свое „я“ не только въ творчествѣ, но еще въ чѣмъ-то иномъ, важномъ и достойномъ и его, и его призванія. Авторъ опредѣляетъ это другое „осуществленіемъ общественной стоянности“ человѣка, понимая подъ этимъ то, что испытываетъ человѣкъ, чувствуя себя величиной общественной и звеномъ въ психологической цѣли, связующей людей въ организованное соціальное цѣлое. Если онъ не чувствуетъ этого, то его общественная стоянность не можетъ считаться осуществленной. Такимъ образомъ, по автору, осуществленіе общественной стоянности предполагается: а) общественное значеніе дѣятельности человѣка; б) признаніе этого значенія обществомъ; в) сознаніе личностью, что она—величина общественная.

Симптомомъ стремленія осуществить свою общественную стоянность является честолюбіе. У Гоголя оно было безгранично, вытекая не только изъ инстинктивнаго стремленія—быть писателемъ-художникомъ, но и писателемъ-гражданиномъ, непосредственно влияющимъ на общество. Этотъ выводъ автора особенно цѣненъ въ его изслѣдованіи; онъ

не новъ, но здѣсь его аргументація въ высшей степени наглядна и убѣдительна.

Когда Гоголь увидѣлъ значеніе своего творчества, онъ безсознательно, инстинктивно „ухватился“ за свое великое национальное значеніе, какъ за суррогат общественного значенія,—онъ, смѣшавъ национальное съ общественнымъ, сталъ смотрѣть на свое дѣло художника, какъ на орудіе осуществленія своей общественной стойности. Работая надъ „Мертвыми Душами“ и поэтически созерцая Русь изъ прекраснаго далека, онъ лелѣялъ мысль или, скорѣе, иллюзію, будто тѣмъ самыемъ онъ становится непосредственнымъ участникомъ общественной (въ обширномъ смыслѣ) жизни своего отечества, входить органическимъ звеномъ въ ту соціальную среду, которую онъ называлъ „Русью“.

Эта „Русь“ понималась имъ по преимуществу какъ *государство*, и тѣмъ дальше, тѣмъ больше становилась для него тою государственно-национальной средою, гдѣ онъ стремился стать единицей и даже *дѣйствующей силой*, орудіемъ которой должна была служить моральная проповѣдь.

Въ послѣдующихъ главахъ, столь же глубоко интересныхъ и блестящe построенныхъ, авторъ анализируетъ „душевное дѣло“ Гоголя, его мораль и мистику, останавливается на вопросѣ о национальномъ, общерусскомъ значеніи его и въ заключеніе—даетъ этiдѣ по психологіи геніальности писателя.

Тонкій психологический анализъ, отчетливость метода и ясность изложенія—таковы основные достоинства книги г. Овсянико-Куликовскаго, книги, которая составитъ цѣнныи и крупный вкладъ въ литературу о Гоголѣ.

---

Опытъ удачной общей характеристики Гоголя сдѣланъ въ небольшой брошюре В. В. Каллаша: „Основные черты личности и творчества Н. В. Гоголя“. Сжато, но выпулено отмѣчено все существенное, изъ чего слагается трагический образъ Гоголя — комика и юмориста. „Реализмъ и юморъ, какъ и лиризмъ—племенное достояніе у Гоголя; ихъ закрѣпляли у него природа и привычка. Они сильны у него еще до сближенія съ Пушкинскимъ кружкомъ, и поэтому-то Гоголь такъ свободно идетъ на встрѣчу его реалистическимъ тенденціямъ, такъ быстро становится съ ними въ ногу и такъ легко обгоняетъ большинство его представителей—въ періодъ „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“.

Авторъ не согласенъ съ тѣмъ значеніемъ, которое придаютъ обыкновенно вліянію, произведенному на Гоголя Пушкинскимъ и его кружкомъ.

„Кто хоть немного знакомъ съ перепиской Гоголя, — говорить по этому поводу авторъ, — тотъ знать, что еще съ дѣтства онъ очень высоко ставилъ свое призваніе, понималъ всю исключительность своей натуры и все величие своей будущей общественной роли. Послѣ нѣсколькихъ колебаній и штаній, еще до сближенія съ Пушкинымъ, онъ, такъ сказать, специализируется на литературѣ и сразу же выдвигается въ первые ряды писателей“...

Однако, фактъ значительности этого вліянія засвидѣтельствованъ тою же перепиской, и самъ г. Каллашъ признается, что „своими соѣтствами Пушкинъ заставилъ своего молодого собрата пополнить нѣкоторые вошлющіе пробѣлы своего образованія, научнаго и литературнаго, взяться за болѣе крупные сюжеты, вполнѣ сознать основную особенность своего таланта“. Здѣсь далеко еще не все, что даль Пушкинъ своему гениальному собрату, но и этого совершенно достаточно, чтобы признать за вліяніемъ Пушкина фактъ весьма знаменательный для Гоголя.

Для насъ же знаменательно то, что критическая разработка творений Гоголя (равно какъ и Пушкина) вступила въ тотъ фазисъ своего развитія, въ которомъ широкое обобщеніе уже можетъ идти рядомъ съ анализомъ, идущимъ все глубже и глубже, содѣйствуя въ той же мѣрѣ изученію творчества писателя, какъ и росту исторического самосознанія общества. Въ этомъ отношеніи за каждымъ изъ названныхъ авторовъ, въ связи съ общимъ характеромъ ихъ работъ, запишется въ исторіи русской литературы немаловажная заслуга.

Наша замѣтка объ изданіяхъ, посвященныхъ Гоголю, была бы неполна, еслибы мы не упомянули о научно-литературномъ сборнике „Памяти Гоголя“, изданномъ „Историческимъ обществомъ Нестора-лѣтописца“, подъ редакціей Н. П. Дашкевича. По обширности и разнообразію материала, этотъ сборникъ долженъ занять выдающееся мѣсто въ ряду юбилейныхъ изданій.

Въ началѣ помѣщенъ не лишенный своеобразнаго интереса отчетъ о чествованіи „Историческимъ обществомъ Нестора-лѣтописца“ памяти Гоголя, въ день пятидесятилѣтія со дня его смерти. Чествованіе это было нарушено многими обстоятельствами, не имѣвшими никакого отношенія ни къ наукѣ, ни къ литературѣ. Предполагалось устройство торжественнаго засѣданія и ряда лекцій о Гоголѣ, но высшее мѣстное учебное начальство, „въ силу мѣстныхъ и временныхъ обстоятельствъ“ (уличныхъ демонстрацій и студенческихъ волненій), не нашло

возможнымъ разрѣшить чествованіе Гоголя въ стѣнахъ университета и тамъ же читать о немъ лекціи. Хотя нѣсколько лекцій и было прочитано, послѣ разнообразныхъ затрудненій, въ Биржевомъ залѣ, но они, „по независящимъ отъ общества и лекторовъ обстоятельствамъ“, привлекли сравнительно ограниченное количество слушателей. Обществу пришлось, такимъ образомъ, отказаться отъ предположенного торжественнаго засѣданія, и оно ограничилось напечатаніемъ составленныхъ для него рѣчей, которыя и образовали „Гоголевскій сборникъ“.

Изъ многочисленныхъ статей о Гоголь, вносящихъ новыя и необыкновенно интересныя соображенія въ объясненіе творчества писателя, назовемъ статьи гг.: Шаровольского („Юношеская идилія Гоголя“), Петрова („Южно-русскій народный элементъ въ раннихъ произведеніяхъ Гоголя“), Марковского („Історія возникновенія и созданія „Мертвыхъ Душъ“), Лободы („Комедіи Гоголя въ связи съ развитіемъ русской комедіи“ и другими его произведеніями), Дашкевича („Значеніе мысли и творчества Гоголя“), Александровскаго („Гоголь и Бѣлинский“) и др.

Въ интересной статьѣ о научныхъ и литературныхъ произведеніяхъ Гоголя, по исторіи Малороссіи г. Каманинъ приходитъ къ заключенію, на основаніи разбора мнѣній Скабическаго, Тихонравова и др., что эти произведенія Гоголя были поняты и правильно оценены только Пришкинымъ, Бѣлинскимъ и Максимовичемъ,—, тѣ же исследователи, которые занялись болѣе обстоятельно изученіемъ историческихъ статей и повѣстей Гоголя, приступили къ нимъ безъ достаточной подготовки и знакомства съ источниками южно-русской исторіи и съ недобрѣмъ чувствомъ подозрительности къ поэту“.

Въ статьѣ „Н. В. Гоголь, какъ эпический писатель“, г. Малининъ характеризуетъ „рѣшительное“ вліяніе Гоголя, продолжающееся до нашихъ дней. Заслуга эта выражается въ закрѣплѣніи реализма и народности въ литературѣ, въ расширѣніи содержанія литературного творчества и въ утвержденіи господствующаго значенія за нѣкоторыми этическими и драматическими формами литературы. Указывая на отношеніе къ Гоголю Щедрина, Некрасова и Островскаго, авторъ говоритъ: „вліяніе творчества Гоголя, впрочемъ, далеко выступаетъ изъ границъ той литературы, которую мы обычно относимъ къ сатирической—по принятой литературной теоріи. Въ генетической связи съ творчествомъ Гоголя стоитъ направление, а отчасти и содержаніе литературной дѣятельности Достоевскаго. Замѣтно бросается въ глаза аналогія между исторіею творчества Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого. У того и другого религіозные вопросы сдѣлались преобладающимъ предметомъ мысли и творчества въ послѣдніе годы ихъ жизни. Впрочемъ, въ обоихъ случаяхъ можетъ и вовсе не существовать гене-

тической связи, а сказываться лишь свойство дарования обоихъ писателей и значение эпохи, которая выдвигаетъ извѣстные вопросы. Точно такъ же трудно сказать, въ какой мѣрѣ „Война и Миръ“, эта эпопея изъ русской исторіи XIX вѣка, была наивѣнна эпопеей Гоголя „Тарасъ Бульба“; но едва ли можно оспаривать, что реализмъ Толстого опредѣлился не безъ вліянія творчества Гоголя. Даже такие представители нашей литературы, какъ Тургеневъ и Гончаровъ, считавшіе своимъ учителемъ Пушкина, испытали на себѣ вліяніе творчества Гоголя. Иначе и быть не могло: послѣдующія явленія литературы и жизни есть порожденіе совокупности явленій предшествующихъ. Гений Гоголя, своеобразность и съ тѣмъ вмѣстѣ высокая жизненность его произведеній такъ очевидны для людей, одаренныхъ художественнымъ чутьемъ, что остаться внѣ вліянія ихъ было прямо невозможно. Тургеневъ говорить о себѣ, что сочиненія Гоголя онъ зналъ чуть не наизусть. Онъ же прибавляетъ, что „нынѣшнимъ молодымъ людямъ даже трудно растолковать обаяніе, окружавшее тогда имя Гоголя. Поэтому возможно допустить, что „Записки Охотника“ Тургенева, какъ обращеніе къ воспроизведенію народнаго быта, остались не безъ вліянія „Вечеровъ на хуторѣ“. Мы говоримъ не объ идеѣ „Записокъ“, а объ ихъ формѣ и народномъ бытѣ, какъ предметѣ разсказовъ Тургенева. По словамъ послѣдняго, „между міросозерцаніемъ Гоголя и его лежала цѣлая бездна“.

Г-нъ Дашкевичъ даетъ характеристику религіозно-нравственного состоянія Гоголя въ послѣдніе годы его жизни. Въ общемъ итогѣ оно представляется изслѣдователю въ такомъ видѣ, что въ Гоголѣ, какъ нравственной личности, шла ожесточенная борьба двухъ началь—эгоистического и альтруистического съ ихъ разнообразными проявлениями. Первое жило въ немъ, какъ естественное влечение природы, какъ стихійная сила, въ той или иной степени присущая каждому человѣку; второе выступало, какъ сознательно поставленная норма, какъ высшій идеалъ, покоящійся на религіозной основѣ. Недосыгаемая высота христіанскаго идеала, въ связи съ высокой добросовѣстностью въ отношеніи къ предъявленнымъ къ себѣ нравственнымъ требованіямъ, дѣлали поставленную Гоголемъ задачу трудно достижимою, и самое стремленіе разрѣшить ее доставляло Гоголю много глубокихъ физическихъ и нравственныхъ страданій. Въ послѣднія минуты жизни Гоголь напоминаетъ собой изслѣдователю надѣленный сознаніемъ по-тухающій вулканъ, который чувствуетъ потребность потрясти небо и землю своими громовыми ударами, но у котораго хватаетъ силъ только для одного жалкаго шипѣнія.

„Гоголь у насъ не одинъ, — замѣчаетъ авторъ въ концѣ своей весьма интересной статьи. — Въ нашемъ недалекомъ историческомъ

прошломъ можно было указать не мало славныхъ дѣятелей, которые мучились мукаами Гоголя, которые страдали его страданіями. Но зачѣмъ намъ далеко ходить за примѣрами, когда на нашихъ глазахъ угасаетъ жизнь другого великаго писателя Русской земли, который, не найдя, подобно Гоголю, въ жизни данныхъ для воплощенія въ живыхъ образахъ томающихъ его идеаловъ, бросилъ кисть художника съ тѣмъ, чтобы хоть въ сухихъ логическихъ схемахъ выразить свои завѣтныя думы. Гдѣ же причины этого явленія? Отвѣта на этотъ вопросъ слѣдуетъ искать въ печальносложившейся исторіи нашего многострадального народа. Нужно сознаться, что историческая судьба нашего народа была для него скорѣе мачихой, чѣмъ матерью родной. Вынужденный съ колыбели своей больше страдать, чѣмъ наслаждаться, русский человѣкъ привыкъ въ этомъ горестномъ положеніи своемъ искать утѣшенія въ вѣрѣ въ другую, лучшую жизнь, гдѣ вѣтъ ни насильниковъ, ни обидчиковъ, гдѣ живеть одна правда, гдѣ царствуетъ одна любовь..."

Къ изданію приложены нѣсколько превосходно исполненныхъ портретовъ и рисунковъ, а также каталогъ Гоголевской выставки, составленный г. Чаговцемъ.—Евг. Ляцкій.

